

Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин

**Для детей**



Михаил Салтыков-Щедрин  
Для детей

«Public Domain»

1869

## **Салтыков-Щедрин М. Е.**

Для детей / М. Е. Салтыков-Щедрин — «Public Domain», 1869

«...Мне очень не хотелось ехать, но я поехал. Дети! когда вы умудритесь, то примете, что иногда слово «не хочу» совершенно естественно превращается в «хочу» и что человек, существо разумно-свободное, есть в то же время и существо, наиболее способное совершать такие движения, которые совершенно противоположны самым близким его интересам...»

# Содержание

Годовщина	5
Добрая душа	10
Конец ознакомительного фрагмента.	14

# Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин

## Для детей

### Годовщина

Сегодня мне сорок лет. Помню, ровно двадцать лет тому назад я, точно так же, как и теперь, сидел дома – и вдруг кто-то позвонился в мою квартиру.

– Пожалуйте, ваше благородие! лошади готовы! – сказал, входя, унтер-офицер.

– Что такое? куда? зачем?

Он назвал мне одну из далеких северных трущоб, о которой никак нельзя было сказать, чтобы там росли апельсины.

Мне очень не хотелось ехать, но я поехал. Дети! когда вы умудритесь, то примете, что иногда слово «не хочу» совершенно естественно превращается в «хочу» и что человек, существо разумно-свободное, есть в то же время и существо, наиболее способное совершать такие движения, которые совершенно противоположны самым близким его интересам.

В то время я был очень добронравный, скромный и безобидный молодой человек. Я мечтал о «счастьи», но не повторял вместе с Баратынским:

«О счастья с младенчества тоскуя,  
Все счастьем беден я...»,

– а был счастлив действительно. В том полуфантастическом, но прекрасном и светлом мире, в котором я жил, не было ни стантовых, ни квартальных, ни исправников, ни даже губернаторов. То есть не было именно тех станций, на которых слишком раскававшееся «счастье» обязано останавливаться и поверять себя, действительно ли оно «счастье», а не посягательство, не безумие и не злоумышление. Впоследствии опытные люди удостоверили меня, что идея о «счастьи» может по временам оказываться равносильною злодейству, но тогда я ничего этого не понимал. Сказанные выше станции казались мне какими-то туманными точками, при встрече с которыми внимание мое скользило, как будто бы их совсем и не было. Я помню: я уже был тогда на службе и даже писал бумаги, но впечатление, которое оставило во мне это писание, было чисто механическое, или, лучше сказать, меня занимало не содержание бумаг, а те неведомые мне, полуфантастические личности, к которым они были адресованы. Живо представляется мне некоторый Григорий Козмич, которого фигура, как живая, стояла всегда перед моими глазами, фигура маленькая, с армянским типом, с длинным, согнутым крючком носом, с очками на глазах (в то время я его и в глаза не видал, но впоследствии, когда мне на него указали, он действительно оказался точь-в-точь таким, каким рисовало его мое воображение)...

Милостивый Государь Григорий Козмич!

писал я к нему ежедневно и постоянно заканчивал мое писание словами: «С истинным почтением и совершенною преданностью имею честь быть» и проч. О чем я ему писал, в том я и доныне не могу дать себе отчета, но помню, что мой добрый начальник отделения нередко призывал меня к своему столу и разъяснял, в каких случаях следует писать: «о последующем прошу не оставить меня уведомлением», и в каких – «об оказавшемся имею честь покорнейше просить почтить меня уведомлением». Середины, которая несомненно существовала между «милостивым государем» и «совершенным моим почтением», я никак не мог себе усвоить; она улетучивалась, как улетучивается сон, немедленно, вслед за пробуждением. Повторяю: я жил

не личной, а какой-то общею жизнью, которая со всех сторон так и плыла и плыла на меня, так и затопляла своим светом, теплом и гармонией.

Так было и в ту минуту, когда добродушный унтер-офицер объявил мне, что необходимо ехать в отдаленную северную трущобу. Я ничего не понял, кроме того: кому и на что надобно, чтоб я ехал? А так как разрешения на этот вопрос не могло быть, то я машинально оделся, машинально вышел из квартиры и машинально же сел в тарантас. Я помню, что я не спросил даже, что это за трущоба и на слиянии каких именно рек она находится...

Дети! если вам случится встретиться на улице с русским унтер-офицером, спешите снять шапку и поклониться ему! Знайте, что это добрейшее и благороднейшее существо в целом мире, что это неиссякаемый источник незлобивости, нежной предупредительности и всяческого унтер-офицерского баловства!

По мере того как городской шум заглушается стуком колес тарантаса, по мере того как остаются позади городские здания, суровые глаза унтер-офицера, везущего вас в трущобу, смягчаются, а густые, преднамеренно нахмуренные брови постепенно разглаживаются, делаются обыкновенными, редковолосыми бровями, приличествующими всякому человеку, не натеревшему в ремесле театрального разбойника. Если в городе вы еще носили в глазах его характер казенной поклажи, то тут, на лоне загородной природы, в виду уходящей в безграничную даль почтовой дороги, характер этот исчезает совершенно. Вы становитесь просто несчастным, вы делаетесь заблудшею, но все еще дорогою, все еще желанною овцою, для которой охотно отверзаются все сокровища заботливого унтер-офицерского сердца!

Я не шутя говорю: если за доблести и военную опытность признается справедливым постепенно производить из унтер-офицеров в генералы, то было бы столь же справедливо за благодушие и сердечную мягкость с тою же постепенностью производить из генералов в унтер-офицеры.

Я помню, как мы приехали в Шлюссельбург, или, по местному названию, Шлюшин, и как расхолодившееся Ладожское озеро заглушало не только говор, но даже крик наш. Я помню, как около «Сясских Рядков» сломалась подушка у нашего тарантаса и мы вынуждены были остановиться часа на два, чтоб сделать новую; как станционный писарь смотрел на меня, покуда мы пили чай, и наконец сказал:

– Да, нынче «несчастных» довольно провозят!

Я помню, как мы приехали в недавно выгоревшую тогда Кострому; с каким остолбенением рассказывали нам о бывшем там пожаре; я помню, как мы перевалились наконец за Макарьев (на Унже), как пошли там какие-то дикие люди, которые на вопрос: нет ли что поесть? – отвечали: – сами один раз в неделю печку топим! Помню леса, леса, леса...

Помню, что когда мы въехали в эту непросветную лесную полосу, я как будто от сна очнулся, и в голове моей ясно мелькнула мысль: да! это так! Это иначе и быть не должно! Одной этой мысли достаточно было, чтоб я вышел из моего нравственного оцепенения и понял мое положение во всем его объеме.

Я понял, что все это не сон. Что я сижу в тарантасе, что передо мной дорога, по которой куда-то меня везут, что под дугой заливается колокольчик, что правая пристяжная скачет и вскидывает комьями грязи... Не таинственным миром чудес глянули на меня леса макарьевские и ветлужские, а какую-то неприветливую пошло-отрезвляющую правдою будничной жизни.

– Что это, ваше высокоблагородие, уж не плакать ли выдумали! – утешал меня добрейший мой спутник, – а посмотрите-ка, птицы-то, птицы-то в лесу сколько! а рыбы-то в реках – даже дна от множества не видать.

Но, несмотря на это, я продолжал плакать. Мне казалось, что здесь, на этом рубеже, я навсегда покинул здание мысли, любви и счастья, к которому так безрасчетливо привязалось

мое молодое воображение, и что затем я уже бесповоротно вступаю в область рябчиков, налимов и окуней.

\* \* \*

Я давно простил. Быть может, мне скажут, что с моей стороны очень смешно изрекать прощение, которого никто не добивается, о котором никто не думает. Я знаю: действительно, никто не добивается, никто не думает, и тем не менее факт прощения – совсем не претензия, а право. Это сладчайшее из всех прав человеческого сердца; это право, возникающее само собой, помимо всяких соображений об его уместности или неуместности.

Но есть обида, которая и доныне дает мне чувствовать себя. Этой обидой я называю ту сердечную робость, ту потребность примирения, которые, как вор, прокрались в мое существование. С той минуты, как я перешел за рубеж, с той минуты, как я в первый раз сказал себе: да! это так! это иначе и не должно быть! – эта мысль с течением времени до того укоренилась во мне, что никакая неожиданность уже не кажется мне неожиданностью и слово «сюрприз» потеряло для меня всякое обаяние. Я сознаю всю тусклость и невразумительность этих немногих слов, и в то же время не могу найти иных, которые полнее объясняли бы то, что подчас кажется человеку непонятным или неудовлетворительным.

Я совсем не хочу сказать этим, что человек имеет право проходить мимо тех или других явлений жизни, не ощутив по поводу их чувства радости или огорчения, чтоб он был прав, ограничиваясь одним объяснением их; я говорю одно: бывают такие печальные моменты в истории личного человеческого развития, когда человек доходит до уразумения целого порядка явлений, которым можно *только* подчиняться, по поводу которых не остается ничего другого, как только махнуть рукою.

Очень трудно считать явление неясным или незаслуживающим внимания по одному только, что оно в самом деле неясно и внимания не заслуживает. Бывают истины совершенно невнятные, но по поводу которых в человеческом уме возникает вполне определенное и при этом очень рельефное представление. Нам очень часто говорят: «Не твоё дело!», и хотя при этом не объясняют или объясняют с значительными недомолвками, почему известное дело не наше, тем не менее мы не можем не понять, что выражение «не твоё дело!» совсем не равносильно выражению «твоё дело!» и что к исполнению преподается не первое, а второе. И благо нам, если мы покоримся этой невнятной истине машинально, с зажмуренными глазами; благо нам, если мы не захотим понять более.

Если мы захотим понять более, для нас уже недостаточно будет ломать многострадальные наши головы над тем или другим словом, над тем или другим происшествием. Нам надобно будет вступить в область более обширную, в ту область, из которой исходят все наши жизненные неясности и в которой совершенно естественно укладываются все эти «не твоё дело», «не трогай», «не рассуждай», «не моги», подливающие столько горечи в существование человека, застигнутого ими врасплох. Желательно ли было бы для нас слишком беспрепятственное проникновение в эту область?

Прежде всего нельзя сказать, чтоб доступ в эту область сам по себе был легок и чтоб дверь в нее отпиралась настежь перед всяким, кто желает войти в нее. Область, о которой я говорю, – это сама жизнь, не украшенная цветами, не расцвеченная флагами, но жизнь строгая, исторически сложившаяся, спутанная.

Но и помимо той трудности, с которою дается нам эта темная область, спросим себя, что, в сущности, мы приобретаем, проникнув в нее? Мы приобретаем убеждение, что в жизни нет того противоречия, которое не было бы строго согласовано с другими противоречиями, нет той горькой неправды, которая не объяснялась бы неправдою еще горчайшею. Наконец,

мы приобретаем способность ничем не возмущаться, ни перед чем не раскрывать удивленных глаз. Можно ли, по совести, назвать такие приобретения драгоценными?

В этой нескончаемой сети неправд и противоречий человеческая личность сглаживается и исчезает. Петр, Иван, Андрей, Яков – все это не больше, как неясно намеченные точки, которые не свидетельствуют ни за, ни против чего бы то ни было, которые не могут служить ни доказательством, ни опровержением. Встает целый порядок, целый строй, который захватывает и правых и виноватых, и преследующих и преследуемых, и гонителей и гонимых, и при виде которого не придет даже на мысль протянуть руку помощи тому или другому Петру, тому или другому Ивану, потому что тут нет ни одного Петра, нет ни одного Ивана, который бы не нуждался в помощи.

Я знаю, многие называют подобные моменты человеческого развития моментами примирения, моментами разумного и трезвого созерцания жизни. Я, с своей стороны, нахожу, что их гораздо приличнее назвать моментами полнейшего индифферентизма и сердечной вялости.

Того ли нам нужно? из того ли обязаны мы биться, чтобы в конце концов получить печальное право с полной душевною невозмутимостью объяснять и оправдывать всякое жизненное противоречие, всякую жизненную неправду?

Нет, говоря по совести, в этом дряблом стремлении к всеоправданию именно и заключается та кровная обида, которая наносится человеку жизнью и о которой я говорил выше. Жизнь, лишенная энтузиазма, жизнь, не допускающая ни увлечений, ни преувеличений, есть именно та постылая жизнь, которая способна только мерить и сводить итоги прошлого, но совершенно бессильна в смысле творческом.

Нам необходимы подвиги, нам нужен почин. Очень часто мы безрассудствуем, мечемся из одной крайности в другую, очень часто даже погибаем; но во всех этих безрассудствах и колебаниях одно остается безрассудным и неизменным – это жажда подвига. В этой жажде трепещет живое человеческое сердце, скрывается пылливый и никогда не успокаивающийся человеческий разум. Не смирать и охлаждать следует эту благодатную жажду, а развивать и воспитывать.

Вам, вероятно, не раз случалось присутствовать в обществе людей взрослых и, по-видимому, даже почтенных, которые по целым часам разговаривают между собою, но из разговоров которых все-таки невозможно извлечь ничего, кроме: «так-то», да «помаленьку», да «полегоньку», да «тише едешь, дальше будешь». Увещания такого рода по большей части обращаются к юношам и имеют свойство приводить их в несказанное негодование. Вот эти-то тихо курлыкающие люди и суть те самые пустопорожние мудрецы, для которых все ясно как на ладони, но зато все и голо как на ладони. Представьте себе, например, такой случай: вдруг целый мир населяется подобными тихо курлыкающими мудрецами – что может из этого выйти?

Во-первых, вам, милым и умным детям, будет очень скучно, что вас занимают такими разговорами, в которых даже уцепиться ни за что нельзя; во-вторых, самая жизнь сделалась бы невозможной и, наверное, не замедлила бы протестовать. Не было бы ни открытий, ни изобретений; Америка была бы неизвестна, и вам не пришлось бы кушать печеного картофеля с свежим маслом, который вы так любите. Люди стали бы жить «помаленьку» да «потихоньку», то есть откладывали бы копейку к копейке, считали бы куриные яйца, писали бы отношения и предписания, а для чего они все это делают, для чего откладывают, считают, пишут – они, наверное, даже этого объяснить бы не сумели.

Конечно, эти тихо курлыкающие мудрецы, с которыми вам так часто случается встречаться в Петербурге, – далеко не то, что люди, сознательно предающиеся всеоправданию во имя исторической необходимости; но, говоря по справедливости, тут разница все-таки только в размерах и формах, а не в сущности дела. Одно явление смешнее, мельче, пошлее; другое

серьезнее и крупнее; но в обоих – одно зерно, и это зерно то самое, которое незаметно подтачивает и подрывает жизнь.

Говорят, будто «помаленьку» да «потихоньку» есть самая удобная форма жизни, и потому есть полное основание дорожить ею. Но надо быть очень близоруким, чтобы не увидеть, что в этом суждении есть очень большой пропуск.

Можете ли вы сказать, что вам удобно обходиться без чтения, потому только, что у вас книг нет? Что вы удобно ограничиваетесь одною растительною пищею, потому только, что в месте вашего пребывания нет мяса или оно вам не по средствам? – Конечно, нет, и вы, милые дети, этого никогда не скажете, потому что вы в то же время и умные дети. Вы скажете: я ограничиваюсь растительною пищею потому, что не могу иметь мяса, но не только не считаю этого удобством, но, напротив того, вижу тут большое для себя лишение. Но ведь поймите же, что удобства, которые рекомендуются поклонниками теории «помаленьку» да «потихоньку», принадлежат именно к числу тех удобств, о которых я сказал сейчас. Это удобства неведения, лености и робости, с которыми легко уживается и дикий Полинезии, и бедный, скудоумный самоед, но которые, в сущности, составляют самое громадное и вопиющее неудобство.

Действительные и истинные удобства жизни достаются только подвигом и почином. Современный человек, обладающий самыми средними средствами, предъявляющий требования самые скромные, ни под каким видом не согласится добровольно возвратиться к той сумме удобств, которою пользовался во времена оны человек, обладавший некогда средствами, более нежели достаточными, и предъявлявший требования самые утонченные. Оказывается, что современный средний человек имеет под руками уже гораздо более жизненных удобств и приобретает их с гораздо меньшим трудом, нежели даже тот исключительный человек, который дорожил своими сравнительно скудными удобствами, как тяжело вырванною у жизни победою. Кто же дал современному человеку эти удобства? Кто даст их еще больше человеку будущего? Кто, как не человек подвига, бодрости и почина!

Вот и выходит, что иногда форма жизни, которая кажется нам самую удобною, на деле оказывается приносящею одни неудобства и лишения. Хорошо, по-видимому, живется дикому Полинезии, но в том-то и штука, что она не может служить образцом ни для кого, кроме подобных ему диких.

Поэтому, ежели вы видите человека, который с нетерпением относится ко всякой несправедливости, хотя бы она и не касалась его лично, который чужое горе считает своим собственным горем, чужую беду своею собственною бедою, которого горячее сердце откликается всякому доброму начинанию, всякому душевному слову, к телу которого близка не одна своя рубашка, но и рубашка ближнего, не спешите говорить про него: вот человек взбалмошный, строптивый и неучтивый, который сует свой нос, куда его не спрашивают! Такие скорые заключения прилично выводить оставшимся за штатом регистраторам (за это, впрочем, они и наказываются ссылкой на необитаемый остров, как вы видели это из первого моего рассказа), вы же, милые и умные дети, должны знать, что этот человек есть именно один из тех полезных и честных людей, отсутствие которых самым вредным образом отзывается на целом обществе, производя в нем оскудение добра. Нет нужды, что движения этих людей бывают нередко угловаты, что речь их обыкновенно резка, – вы должны снисходительно смотреть на эти, в сущности, ничтожные недостатки во имя добра, которое делают эти люди, во имя света, который они вносят в человеческую жизнь.

В добре вся сила жизни, в добре замыкается весь ее смысл. Итак, пускай регистраторы обзывают нас сварливыми и взбалмошными – мы знаем, что этими именами позорится горячее стремление к добру и горячее искание истины. Будем же беспокойными и строптивыми, но да не охладится в сердцах наших лучшее достояние нашей жизни – энтузиазм к добру и к истине.

## Добрая душа

Часто я думаю: что на свете всего милее? и как ни гадаю, всегда выходит один ответ: нет на свете милее доброй души человеческой. Конечно, не всегда хорошо живется доброму человеку; конечно, он даже чаще страдает, нежели другой, который смотрит, выпучив глаза, на мир божий, и нет ему дела ни до чьих великих горестей, но и страдает-то он как-то тихо, сладко, любяще...

Хорошо встретиться в жизни с добрым человеком: во-первых, он всегда много видел, мыслил и испытал, а следовательно, и рассказать и объяснить многое может; во-вторых, самая близость доброй души человеческой просветляет и успокаивает все, что бы ни прикоснулось к ней. Как доходят люди до того, что делаются совсем-совсем добрыми, что не обвиняют, не негодуют, а только любят и жалеют – это объяснить сразу довольно трудно. Однако можно почти без ошибки сказать, что достигнуть этого нельзя иначе, как путем постоянной работы мысли. Когда человек много мыслит, когда он рассматривает не только внешние признаки поступков и действий своих ближних, но и ту внутреннюю историю, которая послужила подготовкой для них, то очень трудно бывает оставаться в роли обвинителя, хотя бы внешние признаки известного действия и возбуждали негодование. Коль скоро мысль объясняет и очищает действие от запутывающих его примесей, сердце не может не растворяться и не оправдывать. Преступники исчезают; их место занимают «несчастные», и по поводу этих «несчастных» горит, томится и изнывает добрая человеческая душа...

Много встречаем мы на свете людей, но, к сожалению, большая часть их принадлежит именно к числу таких, которые ходят с выпученными глазами и ни о чем слышать не хотят, кроме своих маленьких личных интересов.

Эти люди самые несчастные, несчастнее даже тех, кого мы называем собственно преступниками. У настоящего «преступника», может быть, вся душа переболит прежде, нежели он решится на преступление, а этот, что ходит с выпученными глазами по улице, на каждом шагу делает свои маленькие гадости и даже не чувствует, что эти гадости – те же преступления и что из их темной массы источаются все мирские несчастья.

Но встречается немало и добрых людей, и вы, милые дети, всегда скорее всех успеете отличить их. Когда вы чувствуете, что вам легко и приятно около какого-нибудь человека; когда ваши лица расцветают улыбкою при виде его, когда вас инстинктивно манит прилечь к нему... знайте, что это такой же чистый и милый человек, как и вы сами; знайте, что около вас бьется именно то самое доброе человеческое сердце, о котором я хочу повести здесь речь.

Нигде так много не встречается добрых душ, как между женщинами. Мужчина почти всегда по горло занят мелкими своими житейскими делами; он больше на народе, он чаще вынуждается вести борьбу, видеть и терпеть несправедливости. Поэтому у него более поводов воспитывать в себе чувство досады и нет времени соображать свои выводы с выгодами других, нет времени и прощать. Сверх того, известная доля самостоятельности сообщила его действиям несколько хищнический характер, вследствие чего любимыми его пословицами стали: «На то война!» да «Затем в море щука, чтоб карась не дремал!» Напротив того, женщина с самых малых лет почти всегда одна и всегда в загоне; действительная роль, на которую – по крайней мере, в настоящее время – осуждена женщина, – это роль безмолвия и исполнения чужих желаний и прихотей. Вот она и молчит, но в то же время думает, много думает. И чем больше она думает, чем томительнее тянется ее собственная одинокая жизнь, тем более растворяется любящее, доброе сердце. Она видит, как суетится и колотится весь свой век мужчина, как он лукавит и изворачивается из-за куска насущного хлеба, и мысль о «несчастьи», которое как бы сетью какую опутало весь людской род, сама собой возникает в ее голове. Муж

ли вернется домой злой и хмельной, она думает: «Господи! какой он несчастный!» Сын ли окажется уличенным в незаконных делах, она думает: «Господи! как он должен страдать и как нужно, как нужно ему любящее сердце, которое могло бы вселить мир в его тоскующую душу!»

И когда женщина захочет утешить скорбящего человека, то можно сказать наверное, что в целом мире не найдется слаще и лучше того утешения. Нет татя, у которого не открылся бы источник слез при виде умиротворяющей женской ласки; нет душегуба, которого сердце не дрогнуло бы перед любящим женским словом. И не потому только, чтобы эта ласка или слово усыпляли человека или заставляли его забыть что-нибудь, а потому, что эта ласка, это слово восстанавливают искаженный человеческий образ, что они вдруг очищают его душу от наносной житейской грязи, что они хотя и не уничтожают прошлого, но делают невозможным возврат к нему...

Когда я был в той труппе, о которой вам недавно рассказывал, то случай свел меня именно с одною беспредельно доброю женщиной, воспоминание о которой будет благословенно для меня до конца моей жизни. Об ней-то я и поведу с вами речь.

Это была вдова мещанина, Анна Марковна Главщикова. Муж ее когда-то был достаточным купцом, но потом прожился, разорился и умер в мещанах, оставивши Анне Марковне самое ограниченное состояние. Как теперь помню, жила она в своем маленьком одноэтажном, об трех окнах на улицу, домике, около которого стоял довольно поместительный анбар с большими створчатыми дверьми. В этом анбаре, наполненном всяким мелочным товаром, обыкновенно торговал Марк Гаврилыч, отец Анны Марковны, старичок древний, словно мохом покрытый, который уже почти ничего не слышал и не видел, но выпустить из рук бразды правления не соглашался. В помощь ему был определен Сережа, довольно бойкий мальчуган, приходившийся Анне Марковне чем-то вроде племянника, и совокупными усилиями они как-то успевали вести дела не в ущерб, хотя отец протопоп соседней церкви всякий раз, как проходил мимо лавки Главщиковых, никак не мог утерпеть, чтоб не сказать:

– Старость да младость в союз вступили; обе вопиют: «Помози!»

Когда я зазнал Анну Марковну, она была уже женщина лет за пятьдесят. Лицо у нее, по-видимому, и в прежние, молодые годы нельзя было назвать красивым, но добродушие и какое-то счастливое спокойствие так и светились во всех его чертах. Часто чувствительность заставляла ее плакать, но она плакала без всяких усилий; брызнут сами собой слезы из глаз и потекут по старчески румяным щекам; и видно было, что ей легко плачется и сладко плачется. Часто она тоже вздыхала, но это были не настоящие вздохи, а какое-то тихое всхлипывание, совершенно подобное детскому. Вообще некрасивость ее была такого рода, что к ней очень скоро можно было привыкнуть, и чем больше с нею свыкаешься, тем лучше и свободнее при ней себя чувствуешь, так что под конец, пожалуй, это лишенное всякого изящества лицо покажется краше любой красы.

На дворе у ней всегда бегало великое множество детей. Тут были и дети бедных родственников Анны Марковны, и сироты бездомные, которых она как-то умела всюду отыскивать. Поэтому возня на дворе и у ворот, около лавки, была всегда страшная. Кто на доске скачет, кто в песке копается, кто пироги из глины месит, кто с индейским петухом разговаривает, кто, наконец, подкрадывается к дедушке Марку Гаврилычу и норовит снять у него с носа толстые серебряные очки.

– Кшш... пострелята! – крикнет на них дедушка; но крикнет так незлобиво, что «пострелята» с звонким хохотом брызнут во все стороны и тут же начинают совещаться, какой бы сочинить новый поход против дедушки.

Эта любовь Анны Марковны к детям послужила соединительною связью между ею и мною. Я не могу пройти мимо маленького ребенка без того, чтоб не погладить его по головке или не дать ему пряничка. Анна Марковна сразу заприметила это мое свойство, и стал я ей люб. А еще любее я сделался ей, когда она узнала, что я принадлежу к числу «несчастненьких»,

что я тоже в своем роде «узник», хотя и хожу каждый день на службу в губернское правление, чтобы, как выражался Марк Гаврилыч, «всякую вреду строить». А в глазах Анны Марковны после младенца не было в свете краше человека, как «несчастненький» или «узник».

И вот однажды, когда я, настроив в течение утра посильное количество «вреды», возвращался из губернского правления домой и, остановившись около лавки, беседовал с обступившими меня «пострелятами», из калитки ворот вышла сама Анна Марковна.

– Да вы, барин миленький, хоть бы чайку чашечку выкушать зашли! – сказала она мне, – а то уж как-то и стыдно мне, старухе! Все-то вы эту вольницу-то мою ласкаете да дарите, а мне вас и побаловать-то ничем еще не удалось! пожалуйте, миленький, познакомимтесь!

Я пошел за нею, и с той минуты, как переступил порог этого дома, на душе у меня как-то повеселело. Как будто кто-то издалека улыбнулся мне и прилепел меня, как будто давно затерянный и вдруг снова обретенный друг крепко-крепко прижал меня к груди своей.

Часто, почти каждый день я беседовал с нею, и все, что я уже знал, о чем говорила мне книга, все это как будто бы я во второй раз понял, понял и сердцем, и мыслью, и всем существом. Книга жизни, в которой каждое слово как будто дышало и билось, раскрылась передо мной со всеми своими болями; со всей жаждой счастья, которое, словно мираж, манит и трепещет на горизонте, понапрасну только изнуряя и иссушая грудь бедного странника моря житейского. Эта простая, но беспредельно добрая женщина много потрудилась на своем веку и много думала, но додумалась только до любви и прощения. Она не получила никакого образования и потому не всегда умела уяснить себе причины того или другого явления; но так как, в ее лета и при ее обстановке, помочь этому недостатку было уже невозможно, то она совершенно естественно возмещала его тем усиленным горением сердца, которое доступно даже наиболее простому человеку и которое в то же время так много способствует увеличению в мире суммы добра.

Особенными фаворитами ее были: во-первых, дети, во-вторых, мужики, и в-третьих, преступники, или, как она всегда выражалась, узники.

– Не знаю, как ты, дружок, – говаривала она мне (она очень скоро подружилась со мной и начала говорить мне «ты»), – а я так до страсти этих ребятишек люблю! Первое, умны и заняты они очень, второе – зла в них вот ни на эстолько нет! И не думай ты, друг мой, чтобы этакой малец чего бы нибудь не понял! Нет, он, плутяга, от земли на аршин вырос, а уж все смекнул! Ведь он тот же большой человек, только в малую формочку вылит; все равно как вот солнышко в капельке играет, так и в него настоящий-то человек смотрится!

Говоря это, она гладила маленького внука Сережу, который фыркал от удовольствия, слушая бабушкины речи, и тем несомненно подтверждал справедливость их.

– А расскажите-ка, Анна Марковна, что-нибудь про крестьянскую нужду? – спрашивал я ее иногда, зная, что это один из любимых ее предметов и что ничем нельзя сделать ей большего удовольствия, как доставив случай побеседовать об нем.

– Ах, какая это нужда, мой друг! какая это тяжкая нужда! Кажется, и сердце-то все стогреть должно, как бы настоящим манером подумать об этой нужде!

– И полноте, Анна Марковна! живут они себе припеваючи, только тесненько немножко! – скажешь ей на это, чтоб подстрекнуть и пошутить над ее горячностью.

– Нет, не говори, даже не шути ты этим! Ты взойди только в избу-то крестьянскую, ты попробуй хлеба-то, который они едят, так она, нужда-то ихняя, сама так в глаза тебе и кинется. И опять подумай ты, что для этого ихнего хлеба мякинного да для пустых шей должен он целый век, до самой смерти своей, все работать, все работать! Как только бог души их держит, как только сила-то в них еще остается! Ведь по-настоящему-то, от этих пустых шей бока у человека промыть должно, а он все-то скрипит, все-то работает! И не для себя все работает... да, не для себя!

– А вот в газетах, Анна Марковна, пишут, что мужик оттого беден, что пьет не в меру! – опять пошутишь над нею.

– Врут все они, врут твои газеты! – вскинется она на меня, – вот кабы и ты поменьше этих враньев-то писал, и ты бы в этой трущобе-то не жил, а, пожалуй бы, в звездах да в лентах мостовые гранил! Ты подумай, какое они слово, эти газетчики-то твои, говорят! Пьет мужик! А сколь часто он пьет, спросила бы я тебя? В неделю, а не то и в месяц раз, на базаре бывши! А слышал ли ты, как мужик на базар-то едет, с чем едет и что он там делает?

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.